

ЕЛЕНА ЩЕПИНА

СЕМЬ ДВЕРЕЙ МАРИИ

Книга первая

Я просто
переживаю

Ты потом
поймёшь

Решай сама, конечно

Мне
никого
от тебя
не нужно

Я же только
добра тебе
хочу

Ты должна
быть благодарна

Не делай
из мухи слона

ДОМ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН



18+

Елена Щепина

ДОМ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ

«Автор»

2026

Щепина Е.

ДОМ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ / Е. Щепина — «Автор», 2026

После смерти бабушки Анны двадцатидевятилетняя Мария получает семь странных ключей. Через несколько дней её мать исчезает из больничной палаты, а за стеной открывается дверь в Дом, где семейные правила становятся архитектурой, невысказанные чувства — голосами, а любовь легко превращается в долг. Чтобы вернуть Лидию, Марии придётся пройти комнаты, в которых каждый выбор меняет пространство, и ответить на вопрос: можно ли любить близкого, не отдавая ему право прожить за тебя твою жизнь? «Дом чужих голосов» — первая книга цикла «Семь дверей Марии».

© Щепина Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

О СЕРИИ	8
СЕМЬ КЛЮЧЕЙ	9
ПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ	17
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС	25
СЕРДЦЕ МАТЕРИ	32
ПРИХОЖАЯ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ	38
ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ВСЁ ПОНИМАЛА	44
КОМНАТА ХОРОШИХ ДОЧЕРЕЙ	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Елена Щепина
ДОМ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ

ЕЛЕНА ЩЕПИНА

СЕМЬ ДВЕРЕЙ МАРИИ · КНИГА ПЕРВАЯ

ДОМ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ

Психологический роман



АННОТАЦИЯ

После смерти бабушки Анны двадцатидевятилетняя Мария получает семь странных ключей. Через несколько дней её мать исчезает из больничной палаты, а за стеной открывается дверь в Дом, где семейные правила становятся архитектурой, невысказанные чувства — головами, а любовь легко превращается в долг. Чтобы вернуть Лидию, Марии придётся пройти комнаты, в которых каждый выбор меняет пространство, и ответить на вопрос: можно ли любить

близкого, не отдавая ему право прожить за тебя твою жизнь? «Дом чужих голосов» — первая книга цикла «Семь дверей Марии».

О СЕРИИ

«Семь дверей Марии» — цикл психологических романов, в котором то, что мы привыкли прятать внутри, становится физической реальностью.

Семь ключей. Семь дверей. Семь человеческих историй, через которые Марии предстоит пройти, чтобы различить среди страха, долга, любви и чужих ожиданий собственный голос.

Каждая книга — отдельная законченная история. И каждая дверь меняет ту, которая её открыла.



ПРОЛОГ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ

У тебя всегда есть выбор. Выбор есть всегда. Но никто не знает последствий своего выбора. В этом причина ошибок.

Анхель де Куатьэ, «Схимник»

На похоронах бабушки Анны Мария потеряла мать дважды. Через четыре дня ей предстояло потерять её ещё раз — уже буквально. Первый раз это случилось у открытой могилы, когда её мама, Лидия, женщина пятидесяти семи лет, всю жизнь умевшая держать лицо так, будто любое несчастье можно пережить, если сначала узнать, кому позвонить и что делать дальше, вдруг закрыла рот ладонью и на несколько секунд стала похожа на маленькую девочку, которую забыли забрать из незнакомого места. Мария никогда прежде не видела мать такой. Второй раз — час спустя, у выхода с кладбища, когда Лидия выпрямилась, поправила воротник и вернулась в привычное состояние: собранная, полезная, почти неуязвимая; женщина, способная плакать в туалете ресторана, а через две минуты выйти к столу и спросить, всем ли положили горячее. Наверное, именно поэтому Мария запомнила тот день не как последовательность похоронных действий, а как первую трещину в человеке, которого до сих пор считала прочнее большинства стен.

К концу августа Москва уже начала уставать от лета. Утром было тепло, но ветер на кладбище нёс первую сухую прохладу, шевелил ленты на венках и переворачивал края чёрных пальто. Небо висело низко, белёсое, без солнца, и только рябина за оградой стояла слишком яркая для похорон — тяжёлые красные кисти казались почти неприлично живыми. Мария потом долго не могла вспомнить, кто говорил у могилы и какие слова произносил священник, зато помнила, как один жёлтый лист прилип к носку материнской туфли и Лидия не заметила его до самой машины.

До этого дня Марии казалось, что мать стареет как-то отдельно от неё, почти незаметно, маленькими уступками времени, которые легко принять за перемену причёски или неудачный свет. Теперь, у могилы, она впервые увидела на лице Лидии возраст целиком. Под тонким слоем пудры проступили синеватые тени под глазами, у рта обозначились две глубокие складки, а светлые волосы, всегда уложенные в аккуратное каре, растрепал ветер. Лидия машинально поправляла их одним и тем же движением — ладонью от виска к уху, — словно даже горе следовало привести в порядок прежде, чем показывать людям.

Мария стояла рядом в чёрном пальто, которое успела купить накануне между работой и встречей с ритуальным агентом. Тёмно-каштановые волосы она собрала в низкий узел; одна прядь всё время выбивалась возле левого виска, и Мария убирала её за ухо всякий раз, когда не знала, куда деть руки. В двадцать девять она уже хорошо умела выглядеть человеком, который справляется. Прямая спина, спокойное лицо, короткие ответы. Этому в их семье никто специально не учил — просто женщины однажды начинали делать именно так, и следующие принимали манеру за наследственную черту.

— Ты поела? — спросила Лидия уже в машине.

Мария посмотрела на неё.

— Мам, — позвала Мария и повернула голову. Лидия сидела вполборота к окну, и в стекле поверх её отражения проплывали чёрные стволы кладбищенских берёз. На коленях она держала сумку обеими руками — слишком аккуратно для человека, который ещё час назад плакал у могилы.

— Что? — Лидия отозвалась не сразу. Большим пальцем она машинально разглаживала край кожаной ручки сумки, будто неровность можно было убрать несколькими настойчивыми движениями.

— Мы только что похоронили бабушку, — сказала Мария и тут же пожалела о резкости. Прядь у левого виска снова выбилась из низкого узла; она заправила её за ухо, просто чтобы чем-то занять руку.

— Именно поэтому. Ты с восьми утра на кофе. — Лидия наконец посмотрела на неё. Глаза были припухшими после слёз, но голос уже вернулся к привычной деловитости — к тому тону, в котором даже горе можно было ненадолго отодвинуть, если сначала накормить дочь.

— Я не хочу есть, — сказала Мария мягче, чем собиралась, и всё же увидела, как у матери едва заметно напряглась складка между бровями.

Лидия вздохнула так, словно смерть Анны была трагедией, а отказ дочери от бутерброда — плохо организованным процессом, который ещё можно исправить.

— Потом будет мигрень, — тихо произнесла Лидия. Она знала эту последовательность с тех времён, когда Мария ещё приходила из школы бледная, бросала рюкзак в прихожей и уверяла, что голова «просто чуть-чуть». В её голосе не было упрёка — только утомительная, почти телесная уверенность человека, который слишком долго помнит чужие симптомы.

— Хорошо, — ответила Мария слишком ровно. Слово получилось гладким и холодным, как монетка, которую кладут на стол вместо объяснения.

— Что хорошо? — Лидия чуть повернулась к ней всем корпусом. На секунду в её лице мелькнула прежняя мать — не сегодняшняя осиротевшая дочь Анны, а женщина, способная по одному слогу понять, что Маша снова злится.

— Будет мигрень. — Мария пожала одним плечом и посмотрела в окно. За стеклом медленно отступала кладбищенская ограда, а вместе с ней — возможность сказать что-нибудь менее колкое и более честное.

Лидия поджала губы и провела большим пальцем по краю сумки. У неё были красивые руки — узкие ладони, короткие ногти под бесцветным лаком, тонкое серебряное кольцо на среднем пальце — подарок Анны, который Лидия носила много лет. Когда Лидия сердилась, руки выдавали её раньше голоса: начинали разглаживать салфетку, поправлять ремешок, переставлять чашку на блюде так, чтобы ручка смотрела строго вправо. Сейчас поправлять было нечего, и поэтому палец всё возвращался к одной и той же царапине на коже сумки.

Мария знала это движение с детства и всё равно каждый раз воспринимала его как предупреждение. Мать ещё ничего не сказала — а тело уже готовилось защищаться.

Лидия посмотрела в окно и ничего не ответила. Мария тоже отвернулась, чувствуя знакомое раздражение, которое тут же обросло стыдом: бабушка умерла три дня назад, мать всю ночь перед похоронами почти не спала, а она умудрялась злиться из-за бутерброда. Анна умерла быстро. Настолько быстро, что семье даже не досталось привычной для горя подготовки — больничных коридоров, прогнозов, надежд, фраз врачей «посмотрим в динамике». Вечером она разговаривала с Лидией по телефону, утром соседка не дождалась ответа на звонок, а через несколько часов Мария стояла в квартире бабушки и смотрела на недопитую чашку чая, в которой на поверхности застыла тонкая плёнка. Анне было семьдесят девять. За неделю до смерти она пожаловалась Марии, что все вокруг начали говорить с ней медленнее.

Бабушка Анна вообще плохо сочеталась с представлением о смерти. В семьдесят девять она носила тяжёлые серебряные серьги, красила губы даже перед походом в поликлинику и считала, что возраст даёт человеку не право быть мудрым, а право наконец не улыбаться тем, кто ему не нравится. У неё был крупный прямой нос, тёмные глаза, которые почти не выцвели с годами, и седые волосы, подстриженные короче, чем одобряла Лидия. На кухне висели деревянные часы с кукушкой, привезённые когда-то из поездки, и птица в них выскакивала на семь минут позже положенного. Лидия много лет предлагала отнести часы мастеру. Анна отвечала, что если кукушка семьдесят лет жила без точного расписания, нечего портить ей старость дисциплиной.

Мария вспоминала это теперь с нелепой отчётливостью — не последние слова, не похороны, а деревянную дверцу часов и облупившийся клюв птицы. Наверное, горе так и работало: человеческая жизнь не помещалась в голове целиком и поэтому распадалась на безопасные мелочи.

— Это потому, что я старая, — сказала она. — Думают, если произносить по одному слову в минуту, я не умру между двумя существительными.

Мария засмеялась.

— Ты ужасная.

Анна действительно была ужасная — в том семейном смысле, который позволял любить человека именно за то, что с ним невозможно было расслабиться. Она могла за пять минут рассориться с официантом из-за холодного супа, а потом оставить ему самые большие чаевые; могла сказать Марии, что её новый свитер похож на «плед для несчастного дивана», и через неделю купить точно такой же себе. С Лидией они спорили почти профессионально, с годами отточив систему: Анна бросала колкость, Лидия отвечала сухо, через час одна приносила другой лекарства или продукты, и конфликт считался завершённым без формального объявления мира.

Мария росла между ними, как между двумя сильными радиостанциями, каждая из которых была уверена, что передаёт единственно чистый сигнал. Возможно, поэтому она так рано научилась настраиваться на обе одновременно.

— Генетика.

А потом, в половине четвёртого утра, Анна неожиданно позвонила.

Мария тогда проснулась не от звонка, а секундой раньше, будто организм каким-то образом успел получить известие до телефона. В спальне было темно; рядом ровно дышал Кирилл, разметав одну руку поверх одеяла. Он всегда спал удивительно неподвижно и даже во сне выглядел собранным, тогда как Мария к утру умудрялась потерять подушку, перекрутить простыню и забрать себе почти всё одеяло. Экран высветил «БА», и Мария, шурясь от синего света, сначала решила, что бабушка случайно нажала вызов.

— Ты когда-нибудь слышала, как дом учится говорить? — спросила она без приветствия.

Мария села в кровати.

— Ба, ты в порядке?

— Не отвечай вопросом на вопрос.

— Сейчас три тридцать.

— Значит, время хорошее. Днём все слишком умные.

— Что случилось?

Анна помолчала.

— Значит, он пока говорит не с тобой.

— Кто?

Но бабушка уже отключилась. Утром Мария собиралась перезвонить, потом началось совещание, затем подрядчик привёз не те окна, потом позвонил Кирилл, потом Лидия прислала четыре варианта рассадки на свадьбу, и странный ночной разговор исчез под обычной жизнью, как исчезают многие вещи, которым человек ещё не знает цены. После поминок Лидия отказалась ехать в квартиру матери.

— Завтра, — сказала она. — Сегодня не могу.

Поэтому Мария поехала одна. Квартира встретила её запахом пыли, яблок и духов, которыми Анна пользовалась лет двадцать и категорически не соглашалась менять, потому что «бренд хотя бы не делает вид, что каждый год изобретает новую женщину». Мария открыла окна, собрала с кухни продукты, выключила холодильник, потом долго стояла в коридоре, не решаясь зайти в спальню. Никакой мистики не происходило. Это почему-то расстраивало. Анна была настолько большой фигурой в их семье, что её отсутствие казалось недостаточно

материальным. Хотелось хотя бы сквозняка, странного звука, упавшей фотографии — чего-нибудь, что подтвердило бы: такая женщина не может просто перестать существовать и оставить после себя тапочки возле кровати. В шкафу, на верхней полке, за стопкой старых платков Мария нашла деревянную коробку. Она не видела её раньше. Тёмное дерево было натёрто ладонями до медового цвета по углам, крышка закрывалась маленьким латунным замком, но ключ уже торчал в нём. Внутри лежали семь ключей на тёмно-зелёном бархате.



Коробка оказалась тяжелее, чем выглядела. По крышке шла едва заметная трещина, заполненная тёмным воском, а латунная скважина была исцарапана так, словно ключ в неё вставляли сотни раз в темноте. Зелёный бархат внутри выцвел по краям, но углубления под ключи сохраняли форму каждого предмета — как матрас хранит вмятину тела человека, кото-

рый только что встал. Мария провела по ткани кончиками пальцев и тут же отдёрнула руку: запах старого дерева неожиданно напомнил ей бабушкин шкаф, в котором в детстве прятались от грозы.

В прихожей всё ещё стояли Аннины туфли — две пары, носами к стене, потому что хозяйка терпеть не могла «обувные парады». На крючке висел клетчатый платок, которым она укрывала плечи у открытого окна; на тумбе лежала расчёска с несколькими серебряными волосками между зубьями. Из кухни тянуло сушёной мятой и яблоками: Анна покупала их килограммами, складывала в большую голубую миску и неизменно забывала два-три до тех пор, пока кожа не становилась морщинистой, как у маленьких стариков.

На краю комода, наполовину прикрытая старым журналом, лежала фотография, перевёрнутая лицом вниз. Мария машинально потянулась к ней, но остановилась. За последние три дня каждая вещь в этой квартире требовала отдельного прощания, а сил на ещё одну историю не было. Она только заметила на обороте выцветшее слово «Стамбул» и цифру 72, написанную Анниной рукой, после чего задвинула снимок обратно под журнал. Потом, решила она. Когда-нибудь потом.



Часы с кукушкой молчали. Мария остановилась под ними и впервые заметила, что тишина в квартире умершего человека отличается от обычной. Она не была пустой. Наоборот — вещей стало слишком много, потому что каждая внезапно требовала объяснения, почему она осталась, а человек исчез. На холодильнике магнитом была прижата записка Анны: «Купить лампочку. Не забыть позвонить Лиде». Лампочка, видимо, так и не была куплена. Мария долго смотрела на неровные буквы, затем сняла записку и зачем-то положила в карман.



Мария не сразу решилась коснуться ключей. Они лежали слишком аккуратно, каждый в собственном углублении, и от этого казались не коллекцией, а семьёю ответами на вопросы, которых она ещё не знала. Первый был почерневшим железным — коротким, тяжёлым, с неровными зубцами и круглой головкой, словно когда-то его держали в огне. От него тянуло едва различимым запахом сырого металла, а кожа на пальцах вспоминала холод раньше, чем Мария успела взять его. Второй — тонкий серебристый, с двумя бородками, направленными в разные стороны; стоило наклонить коробку, и он тихо звякнул, хотя остальные остались неподвижны. Почему-то звук напомнил ей ложечку о край чашки в пустой комнате. Третий казался сделанным из матового стекла, хотя на ощупь был металлическим. Внутри проходили тёмные прожилки, похожие то ли на трещины, то ли на ветви дерева, увиденные зимой в тумане. Четвёртый, медный и позеленевший, пах старой монетой. Пятый оказался почти невесомым — настолько, что Мария дважды проверила, действительно ли держит его. У шестого вместо привычной головки были два переплетённых кольца. Она попробовала разъединить их ногтем и не смогла; кольца казались отлитыми друг сквозь друга, что было технически невозможно. Седьмой был белым. Не серебряным, не костяным — именно белым, без блика, без тени, будто материал не отражал свет, а удерживал его внутри. Рядом с ним тёмно-зелёный бархат выглядел грязным. Мария задержала на нём взгляд дольше остальных. Почему семь? Почему такие разные? Что должен открывать ключ, у которого даже материал невозможно назвать? Ответов не было. Сверху лежал сложенный лист — почерк бабушки Анны, резкий и чуть наклонённый вправо.

Мария переложила ключи один за другим и заметила ещё одну странность: тело реагировало на них раньше мысли. Железный оставлял в ладони тяжёлое тепло; серебристый отзывался тонким звоном где-то в зубах; стеклянный холодил подушечки пальцев, хотя в комнате было душно; медный будто на секунду возвращал запах мокрых монет из детства. Невесомый пятый почти не ощущался, но после него рука почему-то казалась пустой. Два переплетённых кольца шестого хотелось разъединить сильнее, чем требовала простая любознательность. Белого Мария коснулась последним и тут же убрала руку: не больно, не холодно — просто возникло ясное, необъяснимое чувство, что предмет заметил прикосновение в ответ.

— Очень смешно, ба.

Она взяла первый ключ, и металл оказался тёплым — не комнатной температуры, а по-человечески тёплым, словно ещё секунду назад его держали в ладони. Мария резко положила находку обратно; из кухни тут же донёлся один сухой, короткий звон, похожий на удар ложки о край стакана. Она вышла в коридор.

«Почему именно я?» — подумала Мария. И следом, почти неприятнее: «А если бабушка знала, что я всё равно открою?» Вопрос остался — липкий, неуместный, будто записка без подписи.

— Есть кто-нибудь?

В ответ была только тишина. Мария проверила кухню, но там не обнаружилось ничего, что могло бы объяснить звук: окно оставалось открытым, шторы едва шевелились от сквозняка, на столе стоял пустой стакан, а никакой ложки рядом не было. Телефон в руке завибрировал; звонила мама.

— Да? — ответила Мария.

— Ты где?

— У бабушки.

Пауза.

— Одна?

— Да.

— Я же сказала завтра.

— Ты сказала, что сама завтра приедешь.

Лидия не закончила.

— Что? — спросила Мария.

— Ничего. Нашла документы?

— Да. И коробку.

На том конце стало тихо. Слишком тихо.

— Какую коробку?

— С ключами.

Лидия несколько секунд не отвечала.

Мария слышала, как на другом конце мать вдохнула через нос. Этот звук она тоже знала — короткий, почти неслышный вдох перед тем, как Лидия меняла решение говорить правду на решение говорить что-нибудь полезное. В детстве после такого вдоха обычно следовало: «Всё хорошо, иди делай уроки». Позже — «Ничего, просто устала». Иногда Мария ловила себя на том, что уже взрослая продолжает вслушиваться в материнское дыхание внимательнее, чем в слова.

— Не открывай ничего.

Мария посмотрела на открытую коробку.

— Я уже открыла коробку.

— Не двери.

— Какие двери?

— Маша.

Голос матери изменился. Не тревожный. Не сердитый. Испуганный.

— Ты знала про ключи?

— Нет.

— Мам.

— Пожалуйста. Сорок дней ничего не делай. Просто забери коробку и не трогай.

— Почему сорок?

— Потому что я прошу.

Мария почувствовала, как знакомо сжимается что-то внутри — не приказ, хуже: просьба, отказать в которой означало добровольно стать причиной материнского страха.

— Хорошо, — сказала она.

Первый ключ внутри коробки дрогнул. Едва заметно. Мария замерла.

— Что? — спросила Лидия.

— Ничего.

— Ты уверена?

— Да.

Она закрыла крышку. В этот момент в зеркале напротив спальни её отражение сделало то же самое на долю секунды позже. Мария медленно подняла голову. Собственная тень на стене была на месте. Но отражение ещё несколько мгновений смотрело не на коробку. На неё. А потом приложило палец к губам. Мария отшатнулась. Зеркало снова стало обычным.

Сердце ударило один раз — тяжело, почти болезненно, — и затем слишком быстро зачистило. Мария не закричала. Она вообще редко кричала от испуга: в детстве Анна шутила, что если на Машу нападёт медведь, она сначала уточнит у него сроки и ответственного. Сейчас хотелось сделать именно что-нибудь рациональное — проверить освещение, снять видео, найти объяснение задержке изображения. Вместо этого Мария стояла посреди бабушкиного коридора и чувствовала под пальцами край деревянной коробки, такой реальный, тёплый и шероховатый, что именно реальность предмета пугала сильнее зеркала.

— Маша? — голос Лидии звучал из телефона. — Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Забери коробку и приезжай домой.

«Домой» у Лидии всегда означало что-то большее, чем адрес. Даже когда Мария давно жила отдельно, у матери оставалась её чашка в шкафу, старый халат за дверью ванной и комплект постельного белья «на всякий случай». В холодильнике почти всегда находился йогурт, который любила Мария, хотя Лидия сама его не ела. Это раздражало и трогало одновременно: мать как будто отказывалась окончательно признать, что дочь может больше не вернуться ночевать, и при этом делала возвращение возможным в любую минуту.

Мария подумала о квартире Лидии, о тёплом свете на кухне, о привычном шуме посудомойки. После странного зеркала предложение «приезжай домой» на секунду прозвучало почти спасением. Именно поэтому она ответила слишком быстро.

Мария посмотрела на коробку. Тёмное дерево. Семь ключей. Бабушкина записка.

— Хорошо.

На этот раз первый ключ не шевельнулся.

Зато из закрытой коробки донёсся почти неслышный скрежет — будто металл на мгновение коснулся замка, которого в комнате ещё не существовало.

ГЛАВА 1

ПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Самые прочные комнаты строятся из решений, которые однажды назвали разумными.
Из «Правил Дома»

Через четыре дня после похорон Мария стояла на третьем этаже бывшей городской усадьбы, смотрела на дыру размером с небольшую ванну там, где ещё утром был фрагмент исторического перекрытия, и чувствовала себя значительно спокойнее, чем дома. Катастрофы, у которых есть смета, ответственный подрядчик и срок устранения, всегда казались ей значительно гуманнее семейных.



День выдался душным и серым. Август держался за город последними тёплыми днями, но над крышами уже собирались тяжёлые облака, и открытые окна усадьбы время от времени приносили внутрь запах мокрой липы — где-то неподалёку дождь уже начался. В старом здании этот запах смешивался с кирпичной пылью, свежим деревом и металлом строительных лесов. Дом, который Мария восстанавливала для других людей, был понятен ей до последней трещины. Собственная жизнь — заметно меньше.

К реставрации Мария пришла почти случайно. После университета она собиралась заниматься обычным управлением проектами — таблицами, сроками, бюджетами, людьми, которые опаздывают к дедлайну и объясняют это обстоятельствами. На первой работе ей достался небольшой проект в старом доходном доме: нужно было свести в один план архитектора, инже-

неров, подрядчиков и заказчика, каждый из которых говорил на собственном профессиональном языке и был уверен, что именно остальные ничего не понимают. Мария приехала на объект на неделю и осталась в этой сфере на годы. Ей понравилась честность старых зданий. Трещина не притворялась мнением. Перекрытие либо выдерживало нагрузку, либо нет. Под штукатуркой можно было найти старую кладку, замурованное окно, след прежней двери — и у каждого повреждения была история, которую при достаточном терпении удавалось восстановить. Иногда Анна шутила, что внучка выбрала идеальную профессию: спасает дома, которые не просили её о спасении. Мария тогда смеялась. Теперь эта фраза вспоминалась подозрительно часто.

В рабочей каске Мария выглядела моложе своих двадцати девяти: лицо становилось открытым, волосы приходилось прятать под пластик, и исчезала привычная городская собранность. Зато голос менялся в обратную сторону — становился ниже и спокойнее. На объектах она почти никогда не повышала его. Чем хуже была ситуация, тем точнее Мария формулировала вопросы, и подрядчики давно заметили: если она перестала раздражаться и начала говорить особенно вежливо, положение действительно серьёзное.

На запястье у неё были тонкие механические часы с потёртым кожаным ремешком — подарок Анны на окончание университета. Экран телефона Мария могла проверять каждые две минуты, часы же носила скорее как амулет человека, который верит, что время существует независимо от уведомлений. Когда нервничала, она проводила большим пальцем по холодному краю корпуса, словно проверяя, что хотя бы эта система всё ещё идёт по кругу как положено.

— Кто дал команду снимать балку? — спросила она.

Прораб Сергей молчал. Архитектор молчал. Представитель подрядчика изучал собственные ботинки.

— Хорошо, — сказала Мария. — Тогда другой вопрос. Кто первым понял, что она несущая?

Сергей поднял руку.

— Когда?

— После первого реза.

— И вы продолжили?

— Нам сказали демонтировать.

— Кто?

В работе её ценили за способность оставаться внутри проблемы дольше, чем остальные выдерживали. Мария могла два часа разбирать переписку, пока не находила, в какой день одна неточная формулировка превратилась в миллионный риск; могла ночевать на объекте перед сдачей и утром прийти на совещание с вымытыми волосами и лицом человека, который просто рано встал. Сотрудники иногда называли её железной — комплимент, который Мария принимала, хотя знала цену железа лучше них. После тяжёлой недели она могла плакать в машине из-за того, что закончилась омывайка, а через десять минут спокойно обсуждать бюджет.

Собственную уязвимость она не скрывала намеренно. Просто для неё почти никогда не находилось подходящего слота в календаре.

Все трое посмотрели на архитектора. Тот вспыхнул. Через двадцать минут Мария уже знала последовательность событий, ещё через десять добилась временного усиления, вызвала конструктора и перенесла на следующий день работы, которые зависели от этого участка. В её календаре появились три красных блока, в рабочем чате — двадцать семь сообщений, зато дыра перестала быть катастрофой и превратилась в задачу. Именно за это Мария любила работу. Здесь никто не спрашивал, действительно ли ты этого хочешь. Здесь нужно было решить. В обед позвонила Лидия. Мария увидела имя и не ответила. Через минуту пришло сообщение:

«Не срочно. По площадке. Позвони, как освободишься.» Через три минуты:

«И по квартире есть вариант, скину.» Ещё через две:

«Ты ела?» Мария положила телефон экраном вниз. Сергей, проходивший мимо, усмехнулся.

Экран погас, но сообщения продолжали существовать на столе почти физически. Именно так Лидия присутствовала в жизни дочери: не вторжением, а постоянной готовностью быть полезной. У неё был номер хорошего стоматолога, контакт человека «по окнам», таблица сравнения ипотечных ставок, аптечка на случай поездки и мнение практически о любой вещи, которую Мария ещё не успела решить. В двадцать лет это казалось невероятной удачей. В двадцать девять иногда хотелось хотя бы один раз обнаружить проблему раньше матери.

Но память о матери состояла не только из списков врачей и запасных батареек. В ней была ещё Лидия двадцатилетней давности — в старых джинсах, босиком на дачной кухне, с мукой на щеке. Однажды в июле гроза отключила электричество на весь посёлок, холодильник начал таять, и мать объявила, что «спасение продуктов — тоже семейная ценность». Они жарили на газовой плитке толстые, кривые блины, ели растаявшее мороженое прямо из коробки и смеялись так громко, что Анна пришла из соседней комнаты выяснять, кто там «умирает от счастья».

Марии было тринадцать, Лидия тогда ещё носила волосы до плеч и умела смеяться, запрокидывая голову, совсем не проверяя, что в этот момент происходит с кастрюлей. Иногда Мария забывала эту женщину — не потому, что её не было, а потому, что тревожная, организующая Лидия занимала в памяти слишком много места.

Мария убрала выбившуюся прядь за ухо и заставила себя вернуться к чертежу. Через минуту рука сама потянулась к телефону проверить, не написала ли Лидия ещё что-нибудь.

— Мама?

— Почему мама?

— У меня так же. Только моя начинает с «ты в шапке?», даже если июль.

— У моей продвинутое. Она сначала решает мою недвижимость.

— Удобно.

Мария хотела ответить «очень», но не стала. Вечером они с Кириллом должны были встретиться с управляющим свадебной площадки. До свадьбы оставалось чуть больше трёх недель, и Мария всё чаще ловила себя на том, что относится к ней как к проекту, который слишком поздно отменять: есть договоры, подрядчики, гости, план Б на дождь, рассадка, меню, музыка, фотограф, логистика для родственников и Лидия, которая каким-то образом успевала держать всё это в голове одновременно с собственной работой. Сама Мария хотела двор. Старинный кирпичный фасад, липы, длинные столы, световые гирлянды, никакой сцены и никакой попытки превратить свадьбу в мероприятие на триста человек. Кириллу тоже нравился двор. Лидия считала его неоправданным риском.

Она представляла его ещё до того, как Кирилл сделал предложение: конец августа, тёплый кирпич старой усадьбы, столы без белых чехлов, высокие свечи в стекле, гирлянды между липами. Не потому, что мечтала о свадьбе с детства — наоборот, каталог свадебных платьев всегда вызывал у неё лёгкую тоску, — а потому, что этот двор казался живым и несовершенным. В нём мог пойти дождь. Мог задуть ветер. Кто-нибудь обязательно перепутал бы стол. Марии нравилась сама мысль, что праздник не удастся полностью подчинить плану.

С Кириллом они познакомились три года назад на совещании, где его компания сопровождала сложный договор по реконструкции. Мария сначала запомнила не лицо, а руки: длинные пальцы, которыми он медленно переворачивал страницы приложения, пока остальные уже спорили, не дочитав пункт. Потом — привычку слегка щуриться, когда кто-то говорил заведомую ерунду, и улыбку, появлявшуюся только с одной стороны рта. Кирилл был выше Марии почти на голову, худощавый, тёмноволосый, с первыми серебряными нитями у висков, которые

в тридцать два придавали ему незаслуженно солидный вид. Он сам называл их компенсацией за эмоциональную незрелость.

С ним было спокойно не в смысле «никогда ничего не происходит», а в смысле «если произошло, можно сесть и поговорить». Именно поэтому собственные сомнения о свадьбе Мария долго принимала за усталость. Хорошие отношения, как ей казалось, не должны были вызывать желания открыть окно и несколько минут просто постоять у воздуха.

— Двадцать шестого может быть дождь, — сказала она ещё месяц назад.

— Может не быть.

— Может. Но если будет, вы посадите сто семьдесят человек куда?

— Есть шатры.

— При боковом дожде шатры прекрасны, если цель — мокрые гости с салатом.

Мария закатила глаза. Лидия не обиделась и через два дня прислала список рисков: ограничения по шуму после одиннадцати, мощность электричества, необходимость дополнительного генератора, отсутствие нормального крытого пространства на случай сильной грозы и жалоба соседнего жилого дома на предыдущее мероприятие. Половина оказалась правдой. Это бесило особенно. Когда Мария приехала на площадку, Кирилл уже ждал у входа. Он поцеловал её в висок.

Мария чуть подняла лицо, и на секунду они оказались в привычной близости — запах его одеколона, прохладная щека, ладонь между её лопатками. В такие моменты сомнения о свадьбе казались почти нелепыми. Разве человек, которому спокойно в конкретных чужих руках, может не хотеть обещать эти руки навсегда?

Потом Кирилл отстранился и спросил про день, Мария начала рассказывать про балку, и обычная жизнь снова сомкнулась вокруг них. Она всё чаще думала: возможно, любовь и решение о браке существуют на разных этажах одного здания, а она слишком долго делала вид, что между ними нет лестницы.

Он стоял, прислонившись плечом к кирпичной стене, и читал что-то в телефоне, нахмурившись так, будто договор продолжал преследовать его после рабочего дня. На нём было тёмно-синее пальто и серый шарф, который Мария подарила прошлой зимой после того, как устала смотреть на его старый. Кирилл утверждал, что старый «ещё выполнял функцию шарфа»; Мария отвечала, что функция не освобождает вещь от ответственности за внешний вид.

Увидев её, он сразу убрал телефон. Это была одна из тех мелочей, за которые Мария любила его и почти никогда не говорила вслух: рядом с ней Кирилл действительно умел присутствовать. Даже когда отношения начинались с рабочих созвонов, он запоминал, что она не любит кинзу, что после мигрени ей нужен сладкий чай, что перед сложным разговором она крутит кольцо на связке ключей, хотя никакого кольца на пальце не носит.

Кирилл встретил её шуткой про победу над историческим зданием. Мария ответила, что пока лишь убедила его не падать, и на несколько секунд всё было легко.

В холле управляющий сообщил: крытый зал неожиданно освободился.

Мария почувствовала неладное раньше, чем увидела Лидию.

Мать уже стояла внутри и разговаривала с администратором. Увидев дочь, она обрадовалась так, будто всё подготовила заранее и теперь наконец дождалась главного участника собственного плана.

Мария спросила, что она здесь делает.

Лидия объяснила: зал освободился, а поскольку Мария была на работе и не брала трубку, она попросила администратора сразу позвонить ей.

На возражение «я беру трубку» мать только подняла брови и напомнила про сегодняшний день.

— Вот именно.

Два слова, после которых Марии всегда хотелось либо оправдываться, либо хлопнуть дверью.

Лидия поспешила уточнить: ничего за них не бронировала. Просто посмотрела. Здесь нормальная вентиляция, отдельный вход во двор, можно сохранить церемонию снаружи, а ужин перенести внутрь. И генератор не понадобится.

Она говорила спокойно, разумно — и была права. Мария ненавидела это сочетание.

Зал оказался действительно красивым. Кириллу понравился.

Лидия сразу посмотрела на дочь.

Мария могла сказать: ей больше нравится двор. Фраза уже была во рту. Но мать ждала с той осторожной надеждой, которая мгновенно превращала обычный вкус в вопрос о благодарности за её старания.

— Нормально, — сказала Мария.

Под рёбрами на секунду появилось лёгкое тепло. Почти точка света. И сразу погасло.

— Тогда я бы брала, — сказала Лидия.

Кирилл посмотрел на Марию.

— Ты уверена?

— Да.

— Точно?

— Кирилл, зал хороший.

— Я не спрашиваю, хороший ли зал.

Раздражение поднялось мгновенно.

— Да, я уверена.

Через полчаса они подписали дополнительное соглашение. На улице Кирилл сказал: — Я думал, ты хотела двор.

Ручку Мария держала чуть сильнее обычного. Она прочитала соглашение дважды, уточнила штрафы, проверила приложение — всё то, что делала автоматически с любым документом. С юридической точки зрения решение было идеальным. С точки зрения собственного желания — его как будто вообще не существовало в тексте.

Кирилл расписался после неё. Лидия уже обсуждала с управляющим, можно ли изменить схему рассадки. Никто не принуждал Марию. Никто не повышал голос. Никто даже не просил уступить. И всё же, выходя на улицу, она чувствовала себя так, будто поставила подпись под чужим вариантом собственной свадьбы. Именно отсутствие явного давления делало это чувство почти невозможным для объяснения.

Уже у дверей Мария поймала собственное отражение в стекле и на секунду остановилась. «Кому принадлежит это решение?» Вопрос показался почти нелепым: подпись была её, ручка была в её руке, никто не заставлял. Но если решение твоё только потому, что ты сам его подписал, почему после него так хочется выйти на воздух? И ещё один вопрос, которого она пока не умела формулировать без раздражения: если мама расстроится из-за моего выбора — это значит, что выбор неправильный? Мария отвернулась от стекла. Ответа не было. Зато вопрос почему-то запомнился.

Мария достала телефон.

Мария сказала, что тоже хотела этот зал. Кирилл зацепился за слово «тоже»: прозвучало так, будто хотела какая-то предыдущая версия Марии.

Она отмахнулась — зал просто оказался удобнее.

Кирилл не стал спорить. И именно это сразу вызвало у Марии чувство вины.

Она несколько раз уточнила, не расстроился ли он, пока Кирилл наконец не сказал прямо: ему лишь интересно, нравился ли ей двор или он это придумал.

Мария хотела сказать «нравился». Вместо этого пожала плечами.

— Какая разница.

Он провёл большим пальцем по её костяшкам и отпустил руку. Мария знала этот его способ отступать из разговора, пока слова не перестанут быть раздражёнными.

Телефон завибрировал: Лидия прислала ссылку на квартиру.

Кирилл посмотрел фотографии и предложил съездить в воскресенье. Мария автоматически согласилась.

Тогда он задал вопрос, после которого пришлось остановиться.

— Ты хочешь?

Машины шуршали по мокрой дороге. Ремень сумки давил на плечо, во рту пересохло, пальцы нашли край часов.

Если бы Кирилл спорил, убеждал, обижался — появилось бы от чего оттолкнуться. Его спокойное ожидание оставляло Марию один на один с собой.

И она вдруг подумала: а если её собственное «хочу» всегда появляется на секунду позже чужого «лучше»?

— Мне всё равно.

На этот раз тепло под рёбрами не просто погасло. Его словно не было никогда.

В машине по дороге домой Мария несколько раз возвращалась мысленно к вопросу Кирилла — «Ты хочешь?» — и каждый раз отвечала себе чем-то практическим. До парка десять минут. Кухня нормальная. Первый взнос мама добавит. Район безопасный. Как будто желание было ещё одной графой в таблице, для которой пока не нашлось измеримой единицы.

Дома Кирилл снял часы и, как всегда, положил их возле раковины, хотя Мария уже год просила класть на полку. На спинке стула висела его серая толстовка, на подоконнике стояла её кружка со сколотой ручкой — Кирилл трижды предлагал выбросить, она трижды отказалась. Вещи спокойно свидетельствовали, что у них уже есть совместная жизнь. Почему-то именно это вечером тревожило сильнее будущей свадьбы.

Кирилл вошёл на кухню, открыл холодильник, постоял перед ним несколько секунд и закрыл, ничего не взяв.

— Ты опять положил часы у раковины.

— Я последователен.

— Ты называешь последовательностью то, что я называю медленным убийством механизма влагой.

— Зато через три года у нас по-прежнему есть тема для разговора.

Мария всё-таки улыбнулась. Кирилл подошёл сзади и обнял её, положив подбородок ей на плечо. От него пахло улицей, мылом и тем самым одеколоном, который она различала теперь раньше, чем успевала увидеть его лицо. Несколько секунд они просто стояли у кухонной раковины среди кружек, документов со свадебной площадки и его обречённых часов.

— Тяжёлый день? — спросил он.

— Обычный.

— Это у тебя теперь слово для катастроф?

Она повернулась в его руках и поцеловала первой — скорее чтобы не отвечать, а через секунду поняла, что причина уже не важна. Кирилл коснулся ладонью её шеи, потом щеки, привычно и бережно, без вопроса, на который нужно было немедленно придумать правильный ответ. С ним многое в теле было проще, чем в голове. Мария знала его прикосновения, знала, как он улыбается в поцелуе, если она торопится, знала маленький шрам у него под ключицей и то, как он всегда на секунду замирает, прежде чем притянуть её ближе.

Она сама потянула его за ворот рубашки. Здесь никакого «мне всё равно» не было. Желание оказалось ясным, тёплым, почти успокаивающим в своей телесной определённости.

До спальни они дошли, всё ещё тихо смеясь из-за часов, кружки и того, что Кирилл снова наступил на край покрывала и чуть не потянул его за собой. Потом слова стали не нужны.

Позже Мария лежала на боку, спиной к Кириллу. Его ладонь тяжело и спокойно лежала у неё на талии, дыхание уже выровнялось. За окном шуршали шины по мокрому асфальту; где-то этажом выше коротко спустили воду. Самая обычная ночь в самой обычной квартире.

Ей было хорошо рядом с ним. Не «правильно», не «разумно», не «перспективно». Хорошо. Она любила его запах, его руки, его привычку убирать телефон, когда она входит в комнату; любила даже то, как он нелепо складывал носки попарно и потом всё равно не мог найти один из них.

И от этого вопрос становился только труднее. Было бы проще обнаружить, что любви нет, что тело отстраняется, что Кирилл раздражает одним присутствием. Тогда сомнение можно было бы объяснить и закрыть. Но Мария могла представить много лет рядом с этим человеком — его ладонь на своей талии, эти часы возле раковины, его серые волосы когда-нибудь совсем седыми.

Могла бы.

Она лежала в темноте и впервые отчётливо услышала разницу между «могла бы» и «хочу». Разница была крошечной, почти невидимой, но именно в неё почему-то помещалась вся её тревога.

Мария осторожно накрыла ладонь Кирилла своей. Ничего решать этой ночью она не стала.



Ночью Мария проснулась от звука. Не громкого. Будто кто-то царапнул ногтем изнутри шкафа. Кирилл спал рядом. Мария лежала, прислушиваясь. Тишина. Она почти уснула, когда звук повторился. Мария встала. На кухне было темно. В прихожей — тоже. Шкаф стоял закрытый. Она включила фонарик телефона.

Сначала ей показалось, что звук идёт от зеркала напротив кровати. В тёмном стекле отражался шкаф, но одна его створка выглядела приоткрытой, хотя в комнате обе были закрыты. Мария моргнула — отражение совпало с реальностью. Царапанье повторилось уже из шкафа.

В полумраке спальни привычные вещи становились чужими только на мгновение: белая рубашка Кирилла на дверце стула походила на человека, зеркало ловило полоску света с улицы, тонкая щель между створками шкафа казалась темнее остальной комнаты. Мария босиком прошла по холодному полу, чувствуя под ступнями каждую стыковку ламината, и поймала себя на том, что задерживает дыхание, словно от этого что-то внутри шкафа не сможет понять, что она подошла.

— Если там мышь, я переезжаю к маме, — пробормотала она.

Из шкафа тихо ответили: — Мне всё равно.

Мария застыла. Голос был её. Абсолютно её.

— Кто здесь?

Тишина. Она распахнула дверцу. Одежда. Коробки. Пылесос. На дальней стенке шкафа проступала тонкая вертикальная линия. Мария коснулась её пальцем. Стена была холодной. Из спальни донёсся голос Кирилла: — Маш?

Она резко обернулась.

— Всё нормально.

Когда снова посмотрела на стену, линии не было. Мария закрыла шкаф. На комод лежала бабушкина коробка. Она точно оставляла её в машине. Мария подошла. Замок был закрыт. Изнутри донёсся тихий звон первого ключа. Телефон в её руке завибрировал. Время — 02:47. Сообщение от Лидии:

«Не спишь?»

Мария посмотрела на экран. Не успела ответить. Из стены шкафа голосом матери тихо сказали: — Машенька, ты ведь не заставишь меня переживать?

А потом с другой стороны стены кто-то вставил ключ в замок.

ГЛАВА 2

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС

Некоторые двери открываются не ключом, а вопросом, который слишком долго не задавали.

Из «Книги дверей»

Утром стены были обычными. Это раздражало больше, чем если бы в них действительно обнаружилась дверь. Мария провела пальцами по задней панели шкафа, постучала, даже отодвинула вещи и проверила стыки, хотя прекрасно понимала, насколько нелепо выглядит человек, который в семь утра ищет в современной квартире потайной проход только потому, что ночью слышал собственный голос и фразу матери. Кирилл стоял в дверях с кружкой кофе.

За окном стояло прозрачное после ночного дождя утро. На мокром карнизе сидели голуби, машины во дворе блестели так, будто их только что вынули из воды, а от раскрытой форточки тянуло прохладой и запахом сырого асфальта. Нормальность была почти вызывающей. Мир снаружи не знал, что ночью в шкафу появился голос, и продолжал заниматься своими маленькими делами: мусоровоз гремел контейнерами, сосед сверху включил душ, на кухне щёлкнул тостер.

Дневной свет всегда унижал ночные страхи. Он безжалостно показывал пыль на верхней полке, катышки на старом свитере, упаковку от пылесоса — всё то, что несколько часов назад могло казаться декорацией чужого мира. Мария стояла перед разобранным шкафом в футболке Кирилла, с волосами, собранными на макушке резинкой, и чувствовала себя человеком, которому очень хочется, чтобы его страх оказался глупостью. Под левым глазом отпечаталась складка подушки, на щеке осталась тонкая красная полоска. Мистика выглядела особенно нелепо рядом с такими следами обычного сна.

— Нашла Нарнию?

— Очень смешно.

— Я просто уточняю уровень проблемы.

— Нулевой.

Он посмотрел на разобранный шкаф.

— Вижу.

Мария закрыла дверцу.

— Мне приснилось.

— Хорошо.

— Не говори так.

— Как?

— Будто не веришь.

Кирилл поставил кружку на комод.

— Я верю, что ты что-то слышала. Я не знаю, было ли оно снаружи твоей головы.

— Очень дипломатично.

— Профдеформация.

Он поцеловал её и ушёл собираться. Мария посмотрела на коробку Анны. Она снова была в машине. Проверила дважды.



Лидия позвонила ближе к обеду и предложила встретиться после работы, чтобы забрать у Марии часть бабушкиных документов. Мария согласилась слишком быстро. Сама заметила. Ей хотелось увидеть мать. И одновременно — не хотелось рассказывать про голос. Они встретились в небольшом кафе возле офиса Лидии, где мать знала официантку по имени и без меню заказала чай, сырники себе и салат Марии, потому что «ты всё равно до вечера ничего не съешь».



Лидия пришла на семь минут раньше — в её системе координат это считалось «ровно вовремя». Она сняла пальто, аккуратно повесила на спинку соседнего стула и сразу же убрала со стола сахарницу, чтобы официантке было удобнее поставить чайник. Даже в чужом кафе мать за первые тридцать секунд успевала немного улучшить организацию пространства.

Вблизи Мария заметила, что Лидия плохо спала. Тональный крем не скрывал сероватой кожи у висков, под глазами лежали неглубокие тени. Но волосы были уложены, серьги на месте, губы подкрашены неброской розовой помадой. Лидия принадлежала к тому поколению женщин, для которых плохое самочувствие не отменяло необходимости выглядеть так, чтобы никто не задавал лишних вопросов.

— Я могла заказать сама.

— Могла.

— Тогда зачем?

Лидия посмотрела на неё.

— Хочешь другое — закажи другое.

Мария почувствовала себя глупо.

— Нет. Салат нормально.

— Тогда что случилось?

— Ничего.

— Машенька.

— Мам, не начинай.

— Я ещё не начала.

Мария посмотрела в окно. Молчать было трудно. Сказать — ещё труднее. Лидия умела превращать любую неопределённость в действие. Если Мария расскажет о голосах, через два часа у неё будут телефоны невролога, психиатра, МРТ и список анализов, а бабушкина коробка окажется в сейфе на другом конце города. Поэтому она сказала другое.

— Я не знаю, хочу ли я замуж.

Сказав это, Мария прижала язык к внутренней стороне зубов, будто могла физически удержать следующие слова. Ей хотелось посмотреть на мать и одновременно невозможно было поднять глаза. В животе провалилось знакомое школьное чувство: ты уже отдал учителю тетрадь и теперь поздно вырывать страницу.

Мария произнесла её и сразу стала замечать ненужные детали: коричневое пятнышко на чайной ложке, трещину в глазури тарелки, отражение красной машины в окне. Так организм иногда спасался от слишком большого смысла — дробил реальность на мелочи, с которыми можно справиться.

Лидия не ахнула и не потянулась к телефону. Только её большой палец перестал гладить край бумажной салфетки. Для Марии это было равнозначно сирене.

Лидия перестала размешивать чай. Мария почти пожалела.

— Что?

— Я не знаю, хочу ли я выходить замуж через три недели.

— За Кирилла?

— Обычно это предполагается.

— Не язви.

Лидия поставила ложку.

Лидия начала с очевидного: они с Кириллом поругались? Нет. Он что-то сделал? Тоже нет. Кто-то появился? Нет.

Вопросы шли как диагностический алгоритм, но мать не давила — действительно пыталась понять. И от этого Марии было даже труднее спрятаться за раздражение.

— Тогда что?

Вот этого Мария и не знала. Что должно было произойти, чтобы хорошую жизнь захотелось остановить? Кирилл добрый, надёжный, любит её. Разве сомнение не требует причины посерьёзнее, чем внутреннее «не знаю»?

Лидия неожиданно спросила точнее:

— Ты боишься свадьбы или брака?

Мария подняла глаза. На секунду привычный образ матери, которая уже всё решила, дал трещину.

Она действительно не знала.

Лидия уточнила, плохо ли ей с Кириллом. Нет. Хорошо? Да. Любит ли она его? Да.

Мария почти усмехнулась: ответы снова складывались в анкету, только итог из неё почему-то не следовал.

Лидия медленно выдохнула.

— Тогда ничего сейчас не руби. У тебя умерла бабушка, ты не спишь, на работе пожар. Дай себе хотя бы несколько дней.

Мать подтянула к себе чашку, но не отпила. На пенке чая отражался свет окна. Мария вдруг вспомнила похожую сцену много лет назад: ей пятнадцать, она хочет бросить музыкальную школу за два месяца до экзамена, Лидия сидит напротив и говорит почти теми же словами — «не решай на эмоциях». Тогда Мария доучилась. Потом была благодарна. И одновременно до сих пор иногда думала, что хотела бы знать, что произошло бы, если бы бросила.

В том воспоминании всё закончилось не нравоучением, а картошкой фри. После экзамена Лидия забрала её из музыкальной школы, они заехали в круглосуточное кафе и почти час придумывали биографии незнакомым людям за соседними столиками. Мария до сих пор

помнила, как мать, совершенно серьёзным голосом, объявила мужчине в клетчатой рубашке тайным наследником аргентинского ранчо, а потом подавилась кофе от собственного сюжета. Это был один из редких вечеров, когда Лидия ничего не исправляла и никуда не торопила. Она просто была рядом.

Наверное, именно такие вечера и делали всё остальное трудным. От человека, рядом с которым никогда не было хорошо, уходят проще.

Разумно. Опять.

— А если это не «накрыло»?

— Тогда разберёшься.

— После свадьбы?

Лидия нахмурилась.

— Я не это сказала.

— Но до неё три недели.

— Тогда перенесите.

Мария смотрела. Она ожидала другого. Сопровителю. Аргументов. Вместо этого мать сказала: — Если ты правда не понимаешь, чего хочешь, лучше потерять аванс, чем потом разводиться.

Облегчение оказалось настолько сильным, что Марии сразу стало стыдно. Лидия заметила. Конечно.

Пальцы разжались, дыхание стало глубже. Тело ответило раньше, чем Мария успела вернуть лицу нейтральность.

В детстве Мария могла спрятать дневник под матрасом, выучить убедительную историю и два часа держаться идеально, но мать всё равно входила в комнату и спрашивала: «Что случилось?» Иногда это воспринималось как любовь. Иногда — как отсутствие места, где можно быть одной. Чаще всего одновременно.

— Вот, — сказала она тихо.

— Что?

— Ты сейчас не совета просишь.

Плечи Марии едва заметно напряглись, а внимание мгновенно собралось вокруг одной точки.

— А чего?

— Разрешения.

— На что?

Лидия не потянулась за чашкой. Только положила ладонь рядом с блюдцем, пальцами вниз, и Мария вдруг вспомнила, как в детстве мать так же клала руку на стол перед разговором с учителем: будто удерживала себя от лишнего движения. Слово «разрешения» уже прозвучало, но Мария всё ещё надеялась, что оно окажется неточным.

— Отменить.

— Неправда.

— Правда.

— Я просто хотела поговорить.

— Тогда почему тебе стало легче, когда я сказала «перенесите»?

Мария замолчала. Лидия откинулась на спинку стула.

— Потому что если я скажу «отменяй», ты сможешь отменить и потом, если пожалеешь, часть ответственности будет моей.

— Мам, ты сейчас всё упрощаешь.

— Возможно.

— И опять делаешь вид, что знаешь меня лучше меня.

— Нет. Я говорю, что вижу сейчас.

Злость пришла сразу, и на несколько секунд всё остальное отступило перед её простой определённой.

— Хорошо. Тогда скажи прямо. Ты хочешь, чтобы я вышла за Кирилла?

Мария задала вопрос резко, но сразу после него почувствовала почти детское напряжение. Словно снова ждала оценки за поступок. Лидия могла сказать «да» — и тогда появлялся понятный противник, против которого удобно бунтовать. Могла сказать «нет» — и сомнение получало благословение. Любой ответ был легче того, что мать действительно сделала: оставила решение ей.

Лидия ненадолго замолчала.

— Да.

Вот.

— Почему сразу не сказала?

— Потому что моё желание не должно решать за тебя.

Фраза была правильной. И неприятной.

— Ты считаешь отмену ошибкой?

— Да.

— Тогда почему говоришь «перенеси»?

— Потому что ты взрослая.

Мария усмехнулась.

— Очень удобно.

Лидия посмотрела устало.

— Маш. Ты можешь принять решение, которое я считаю ошибкой.

— И потом слушать «я же говорила»?

— Возможно.

— Спасибо.

— А что ты от меня хочешь? Чтобы я перестала иметь мнение?

Мария не ответила. Потому что где-то глубоко именно этого и хотелось. Не чтобы мать молчала. Чтобы она согласилась. Чтобы решение стало безопасным.

— Ты имеешь право считать это ошибкой, — сказала Мария.

Лидия подняла глаза. Тепло под рёбрами появилось едва заметно.

— А я имею право всё равно её совершить.

Лидия побледнела. Не драматически. Просто кровь ушла из лица.

Вначале изменились губы — исчез розовый оттенок, потом лицо словно на секунду стало плоским, без привычного румянца. Она прижала ладонь к груди не театрально, а почти раздражённо, будто тело нарушило договор и выбрало неподходящее время. Мария знала эту материнскую неприязнь к собственной слабости: температура считалась досадой, боль — задачей, врач — специалистом, к которому следует обращаться после того, как все остальные варианты исчерпаны.

— Конечно, — сказала она.

И положила руку на грудь. Мария сразу заметила.

— Что?

— Ничего.

— Мам.

— Сердце колотится.

— Сильно?

— Сейчас пройдёт.

Мария уже доставала телефон.

— Не надо.

— Пульс измерь.

— Маша, прекрати.

— Часы есть?

Лидия раздражённо подняла запястье. Экран показал 138. Мария встала.

— Вызываю скорую.

— Нет.

— Пульс сто тридцать восемь.

— Я перенервничала.

— Тем более.

— Сядь.

— Нет.

Слово вышло неожиданно легко. Лидия посмотрела на дочь. Мария вызвала скорую. Пока ждали, мать сидела, глубоко дышала и злилась.

Мария держала её за запястье двумя пальцами, хотя часы уже показывали пульс и никакой необходимости считать вручную не было. Кожа у Лидии была прохладная, тонкая; под пальцами быстро и неровно билось то, что до этой минуты существовало для Марии скорее как слово — «мамино сердце». В детстве она засыпала, положив голову матери на грудь, и этот звук казался самым надёжным в мире: ровное тупое «тук-тук», которое не требовало от неё ничего. Теперь каждый удар ощущался обвинением, хотя Лидия не сказала ни одного обвиняющего слова.

— Ты делаешь из мухи слона.

— Возможно.

— Мне уже легче.

Мария кивнула: услышала, хотя согласия это не означало.

— И не говори со мной моими фразами.

— Какими?

— Вот этим «возможно».

Мария почти улыбнулась. Потом увидела, что на стене кафе висели старые часы. Секундная стрелка стояла. 03:17.

— Они сломаны? — спросила она официантку.

Та обернулась.

— Давно. Батарейку всё забываем заменить.

В этот момент стрелка дёрнулась. Один раз. Потом пошла. Мария смотрела.

— Маша.

Она повернулась. Лидия держалась за грудь.

— Мне правда сейчас страшно.

И мир мгновенно стал простым. Никакой свадьбы. Никакой автономии. Никаких часов. Только мать, которой плохо.

— Я здесь, — сказала Мария и взяла её за руку.

Скорая приехала через семь минут. Уже в машине, когда фельдшер подключал электроды, Лидия вдруг сказала: — Деньги за зал не вернут.

Мария уставилась.

— Ты серьёзно сейчас про зал?

— Я утром доплатила остаток.

— Что?

Лидия на секунду отвела взгляд.

— По дополнительному соглашению.

— До нашего разговора?

— В девять двадцать.

Это было важно. Мария сама не знала почему, но важно. Мать не платила, чтобы привязать её после признания. Она просто жила обычным утром, в котором свадьба должна была состояться.

— Потом разберёмся, — сказала Мария.

Лидия закрыла глаза. А Мария впервые подумала о вещи, от которой стало по-настоящему страшно: если бы она промолчала про свадьбу, матери, возможно, сейчас не было бы плохо.

Мария поймала себя на том, что уже отвечает на вопрос, которого никто ей не задавал: если матери стало плохо после её слов, не значит ли это, что причиной была она?

ГЛАВА 3

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Чужой страх становится клеткой не тогда, когда его чувствуют, а когда тебе поручают сделать так, чтобы он исчез.

Из «Правил Дома»

В приёмном отделении всё происходило одновременно и слишком медленно: медсестра задавала вопросы, мужчина за соседней ширмой кашлял так, будто пытался вывернуть лёгкие наружу, автомат с кофе мигал красной надписью «нет стаканов», а Мария стояла возле Лидии и с той профессиональной сосредоточенностью, которая обычно спасала стройки, пыталась превратить материнское сердце в управляемый процесс.



Дождь, начавшийся вечером, к ночи стал мелким и настойчивым. Он шуршал по больничным подоконникам, собирался в мутные дорожки на стёклах и делал город за окном похожим на плохо проявленную фотографию. Машины скорой помощи подъезжали к приёмному отделению одна за другой; каждый раз двери распахивались, внутрь вместе с людьми врывался холодный влажный воздух, а затем всё снова смыкалось вокруг белого света, антисептика и ожидания.

Запах антисептика смешивался с дешёвым кофе и мокрой после вечернего дождя одеждой. За стеклянной дверью кто-то ругался с регистратором, в конце коридора медсестра везла каталку с таким привычным выражением лица, будто человеческий страх был ещё одним

видом багажа. Марии всегда казалось, что больницы устроены безжалостно правильно: одинаковые стулья, одинаковый свет, одинаковые двери. Здесь частная катастрофа каждого превращалась в поток, который система должна была переработать по инструкции.

Она сидела на пластиковом стуле, не снимая пальто, и каждые несколько минут тёрла большим пальцем край часов. Обычно этот жест помогал собраться. Теперь ремешок впивался в кожу, а время казалось совершенно бесполезным.

— Давление?

— Сто сорок на девяносто.

— Пульс?

— Уже девяносто восемь.

— ЭКГ?

— Врач посмотрит.

— Тропонин будете брать?

Медсестра подняла глаза.

— Будем.

— Когда?

— Девушка, дайте нам работать.

Лидия с каталки сказала: — Я её предупреждала.

— Мам.

До Марии не сразу дошло, о чём именно говорит мать.

— Сейчас не время быть остроумной.

— А когда?

Плечи чуть отпустило. Если мать способна язвить, значит, всё не настолько плохо. Почти сразу одёрнула себя: это не медицинский критерий. Врач был мужчина лет сорока пяти с усталым лицом и привычкой говорить ровно настолько спокойно, чтобы тревожные родственники не слышали в каждом слове угрозу.

У него были красные следы от маски на переносице и маленькое тёмное пятно кофе на кармане халата. Марии почему-то стало легче именно от пятна. Человек, который сейчас говорил о сердце её матери, тоже проживал какой-то свой длинный день, пил кофе на ходу, забывал посмотреть в зеркало. Реальность сохраняла несовершенство и поэтому ещё не окончательно превратилась в кошмар.

— На ЭКГ есть неспецифические изменения. Острый инфаркт по первой картине не выглядит вероятным, первый тропонин отрицательный, но с учётом эпизода тахикардии и жалоб оставим под наблюдением, телеметрия, повторим анализ.

— Это от стресса? — спросила Мария.

Врач посмотрел на неё.

— Стресс может быть фактором для аритмии, давления, субъективных ощущений. Но если вы спрашиваете, можно ли по последовательности «поругались — стало плохо» сделать вывод, что один человек вызвал сердечное событие у другого, — нет.

Мария слушала врача слишком внимательно, запоминая формулировки почти профессионально. Ей хотелось получить фразу, которую можно будет потом многократно прокрутить и использовать как доказательство собственной невиновности. Врач, конечно, этого не знал. Он просто говорил о физиологии.

Но вина редко интересуется физиологией. Ей достаточно последовательности: ты сказала — маме стало плохо. Даже если между двумя событиями стоят возраст, сердце, бессонная ночь, тревога, десятки других факторов, внутренний суд всё равно любит короткие дела с одним обвиняемым.

Мария опустила взгляд. Формулировка врача прозвучала почти как оправдание, а значит, тут же захотелось спорить с ней.

— Мы не поругались.

Лидия открыла глаза.

— Поругались.

— Мам.

— Что? Он врач, а не комиссия по нравственности.

Врач едва заметно улыбнулся.

— В любом случае сердечно-сосудистая система взрослого человека — не моральный прибор, которым можно управлять правильным поведением родственников.

Фраза была настолько точной, что Мария запомнила её почти дословно. Лидию перевели в палату наблюдения. Марии разрешили остаться ненадолго. Она сидела у кровати, смотрела на зелёную линию монитора и каждые две минуты проверяла цифры, пока Лидия не сказала: — Перестань.

— Что?

— Считать.

— Я не считаю.

— Ты уже десять минут знаешь мой пульс лучше меня.

Мария положила телефон экраном вниз.

— Ты испугалась?

Лидия кивнула.

— Из-за разговора?

Лидия долго молчала.

— Не только.

— А из-за чего?

— Из-за тебя.

Внутри всё сжалось.

Лидия сразу уточнила: она не говорит, будто Мария «сделала ей сердце». Страх был в другом.

Лежа среди белого больничного белья, без сумки, телефона и всех привычных инструментов управления миром, мать вдруг выглядела просто женщиной пятидесяти семи лет.

Она призналась: страшно было понять, что дочь может принять решение, которое Лидия считает ужасным, а сделать с этим ничего нельзя.

Мария заметила: это и называется её жизнь.

— Я знаю. Просто знание и умение — не одно и то же.

И затем Лидия неожиданно признала то, на что Мария раньше потратила бы часы спора: она умеет давить, даже когда уверена, что просто объясняет риск.

Если дочь не принимает «правильное» решение, матери кажется, что она плохо объяснила — и надо объяснять ещё.

— Ещё два часа и со статьями, — сказала Мария.

Лидия не стала спорить. Если статьи хорошие, почему нет?

Мария рассмеялась.

— Невыносимая.

— Генетика.

Несколько секунд было почти легко.

Потом Лидия сказала:

— Мне страшно стать тебе не нужной.

Эта фраза совершенно не подходила Лидии. Она могла пожаловаться на давление, на подрядчика, на плохую организацию поликлиники; могла назвать другого человека безответственным. Но «мне страшно» произносила редко. Мария даже не сразу поняла, куда смотреть.

Мать лежала, повернув голову к окну. На её шее пульсировала тонкая жилка. В лице не было требования немедленно заверить, что она нужна. И всё же Мария почувствовала, как готовый ответ уже поднимается — знакомый, успокаивающий, почти автоматический: конечно, мама, всегда. Тело хотело закрыть чужой страх раньше, чем смысл фразы успеет стать неудобным.

Мария не сразу поняла.

— В каком смысле? — тихо спросила Мария.

— Я всё время была нужна. Тебе, бабушке, всем. Я знаю, что купить, куда позвонить, какого врача найти, где договориться. А потом вырастают дети, мама умирает, и внезапно оказывается, что моя главная компетенция никому не нужна.

— Мам... — Голос всё-таки подвёл на последнем слоге.

— Не жалею.

— Я не жалею.

— Жалеешь.

Самые правильные, самые безопасные слова уже поднимались сами.

— Ты всегда будешь мне нужна.

Под рёбрами что-то погасло. Тепло, которое едва появилось раньше, исчезло настолько отчётливо, что Мария замолчала на середине вдоха. Лидия смотрела.

— Что?

— Ничего.

Но это было не совсем правдой. Она любила мать. Хотела, чтобы та была в её жизни. Но «всегда будешь нужна» означало что-то другое — обещание не измениться настолько, чтобы Лидии пришлось искать новый способ быть рядом. Мария не была уверена, что может его дать. В коридоре появился Кирилл.

Кирилл пришёл без пальто — видимо, оставил его где-то внизу — и с той самой складкой между бровями, которая появлялась у него только в ситуациях, где нельзя было ничего исправить аргументами. Галстук был ослаблен, верхняя пуговица рубашки расстёгнута, тёмные волосы на висках примяты ладонью. В обычной жизни он выглядел человеком, который помнит, где лежат документы и когда истекает страховка. Сейчас одна шнуровка на ботинке была развязана, и эта деталь отчего-то сказала Марии о его страхе больше, чем лицо.

— Я быстро, — сказал он медсестре и вошёл.

Мария встала.

— Как узнал?

— Ты не отвечала. Позвонил твоей маме, трубку взяла медсестра.

Лидия подняла руку.

— Я жива.

— Вижу.

Кирилл поцеловал её в висок, потом посмотрел на Марию.

— Что произошло?

Она могла сказать: тахикардия. Стресс. Наблюдение. Всё медицинское. Вместо этого Лидия сказала: — Твоя невеста сомневается, хочет ли выходить замуж.

— Мам!

Кирилл застыл. Лидия закрыла глаза.

— Прости.

Слишком поздно.

— Это правда? — спросил Кирилл.

Мария посмотрела на него.

— Да.

— И ты рассказала сначала ей?

Он произнёс это негромко, без той интонации, которую Мария могла бы легко назвать несправедливой. Именно поэтому защищаться стало труднее. Кирилл не делал сцен — за три года она ни разу не видела, чтобы он хлопнул дверью или повысил голос всерьёз. Когда злился, движения становились медленнее, а фразы короче. Сейчас он снял очки, которых обычно стеснялся и надевал только читать мелкий текст, протёр стекло краем рубашки и снова посмотрел на неё. В паузе было достаточно времени, чтобы Мария успела придумать пять объяснений и не поверить ни одному.

— Так получилось.

— Нет. Не «получилось». Ты выбрала рассказать ей.

Защита поднялась мгновенно — быстрее мысли.

— Я не планировала.

— Но рассказала.

— Кирилл, сейчас мама в больнице.

— Да. Поэтому мы не будем это обсуждать сейчас. Но не делай вид, что вопрос исчез.

Лидия открыла глаза.

— Я выйду.

Они оба посмотрели.

— Из своей палаты? — спросила Мария.

— Тогда вы выйдите. Господи.

Кирилл усмехнулся, но почти сразу стал серьёзным.

— Маш, я не злюсь, что у тебя сомнения.

— Ты злишься, что я сказала маме.

— Да.

— Почему? — спросила Мария.

Он посмотрел на Лидию, потом снова на Марию.

— Потому что ты постоянно просишь её участвовать в решениях, а потом злишься, что она участвует.

Лицо вспыхнуло.

— Это очень удобно говорить сейчас.

— Наверное.

— Ты не понимаешь.

— Возможно.

— Не начинай и ты.

Лидия тихо сказала: — Он прав.

— Отлично. Теперь консилиум.

Мария вышла в коридор. Она была зла на обоих. Поэтому заметила странность не сразу. Бабушкина коробка стояла на стуле возле ширмы. Та самая. Она оставила её в багажнике машины. Мария подошла. Замок был открыт. Внутри лежало шесть ключей. Первого не было.

Она выглядела настолько неуместно среди белого пластика и одноразовых простыней, что Мария сначала решила: просто похожая коробка. Но на крышке была та самая восковая трещина, а на латунном замке — тёмное пятно у края. Несколько секунд мозг предлагал рациональные версии одну за другой: она взяла коробку из машины и забыла; Кирилл принёс; Лидия попросила кого-то. Ни одна не успевала стать убедительной.

Мария прикоснулась к дереву. Оно было тёплым.

— Нет.

Она перевернула бархат, будто ключ мог закатиться под него. Ничего. Телефон показал машину запертой. Ключи от автомобиля были у неё.

— Маша? — Кирилл вышел из палаты. — Что?

Мария закрыла коробку.

— Ничего.

Из палаты раздался короткий сигнал монитора. Мария обернулась. Кровать Лидии была пуста.

Плед ещё сохранял складку от её ног, на подушке лежал светлый волос. К проводам электродов были прикреплены липкие кружки, но сами они висели в воздухе, как оборванные корни. Никакой торжественной мистики — только неправильно пустое место там, где секунду назад находилось человеческое тело.

Мария машинально посмотрела под кровать. Потом в санузел. Потом на окно, хотя оно было заперто и девятый этаж исключал почти все версии. Кирилл повторил имя Лидии уже громче, и голос у него впервые сорвался.

— Мам?

Кирилл вошёл первым. Ширма отодвинута. Окно закрыто. Дверь одна. Медсестра, стоявшая в коридоре, клялась, что Лидия не выходила. На белой простыне лежал почерневший железный ключ. Мария взяла его. Тёплый. Монитор продолжал показывать ритм, хотя электроды висели возле кровати пустыми проводами. За ширмой, где минуту назад была обычная больничная стена, появился дверной проём. Узкий. Тёмный. Из него тянуло холодом старого дома.

— Маша, — сказал Кирилл. — Не подходи.

Из темноты голосом Лидии произнесли: — Машенька?

Это было не просто похоже на мать. Голос принёс с собой целый набор физических воспоминаний: тёмную комнату в детстве, ладонь на горячем лбу, раздражённое «Машенька» после разбитой чашки, ласковое — перед школьным выступлением. Именно поэтому Мария сделала шаг прежде, чем успела решить. Любимый голос всегда входил в тело раньше смысла.

Мария сделала шаг.

— Мама?

— Не надо, — сказал Кирилл.

Она посмотрела на него.

— Она там.

— Ты не знаешь.

— Я слышу.

— Это не одно и то же.

Он был прав. И всё равно Мария вставила железный ключ в замок, которого секунду назад не было. Дверь открылась глубже.

— Если через минуту не вернусь...

— Нет, — сказал Кирилл. — Ты сейчас не говоришь эту фразу и неходишь туда одна.

Мария посмотрела в тёмный коридор. Изнутри мать тихо позвала снова.

— Маша.

И Мария вошла. Кирилл успел произнести её имя — дверь закрылась раньше, чем его рука коснулась её плеча.

ГЛАВА 4

ПРИХОЖАЯ ЧУЖИХ ГОЛОСОВ

Дом говорит знакомыми голосами. Поэтому труднее всего заметить, когда среди них нет твоего.

Из «Правил Дома»

Первое, что Мария сделала по ту сторону двери, — достала телефон. Это было настолько привычно и нелепо, что почти успокаивало. Связи не было. Время — 01:43, хотя в больнице было около полуночи. Камера работала. Мария сфотографировала коридор. На экране получилась обычная белая больничная стена. Она подняла телефон и снова посмотрела поверх него. Перед ней тянулась прихожая старого дома: полосатые выцветшие обои, деревянный пол, крючки с чужой одеждой, маленькие красные ботинки возле стены и несколько дверей, которые располагались слишком близко друг к другу, чтобы за каждой физически могла быть отдельная комната. Мария сфотографировала ещё раз. На снимке — стена.

Мария проверила ещё раз, включила и выключила авиарежим, открыла карту, потом зачем-то календарь. Последнее уведомление было от рабочего чата: «Сергей прислал фото усиления». На секунду ей захотелось открыть фотографии балки, вернуться в мир, где проблема хотя бы подчиняется строительной механике.

На экране стояла дата сегодняшнего дня. Время — чужое. Мария сделала скриншот. Даже если потом телефон снова покажет больничную стену вместо Дома, у неё останется хотя бы попытка доказать самой себе, что она не придумала происходящее.

Дом пах так, как не должен был пахнуть ни один конкретный дом: нагретой пылью, мокрой шерстью, яблочной кожурой, мебельным воском и чем-то лекарственным, напоминающим капли, которые Анна держала в дверце холодильника. Половицы были тёмные, затёртые посередине чужими шагами; местами лак сохранился лишь у стен. На полосатых обоях проступали прямоугольники более свежего цвета — следы давно снятых фотографий. Мария невольно стала считать двери. Семь. Потом моргнула — восемь. Пересчитала ещё раз — семь.

На мгновение ей показалось, что восьмая дверь не исчезла, а просто отступила глубже в стену. У неё была другая ручка — не железная и не латунная, а тёмная, гладкая, почти чёрная. На косяке белел крошечный знак — две пересечённые дуги, похожие одновременно на цифру и на половину незнакомой буквы. Мария почему-то сразу запомнила его. Она моргнула — остались только полосатые обои. Дом больше никак этого не объяснил.

Красные детские ботинки возле стены были поставлены аккуратно, пятка к пятке. Один шнурок развязался и лежал на полу тонкой змейкой. Почему-то именно этот шнурок заставил Марию впервые подумать, что здесь когда-то или всё ещё живёт ребёнок.

Она ещё не успела испугаться по-настоящему. Страх требовал признать, что произошло невозможное, а Мария пока относилась к происходящему как к аварии на объекте: сначала зафиксировать исходные данные, потом понять границы проблемы. Под пальцами телефон был привычно гладким, на экране — знакомая трещина в углу защитного стекла. Этот крошечный дефект успокаивал. В мире, где больничная стена превратилась в чужой дом, её телефон по-прежнему был тем самым телефоном, который она уронила прошлым летом на парковке.

«Почему я?» — снова всплыло в голове. Не “как это возможно” и даже не “где мама”, а именно это. Почему бабушка оставила ключи ей? Почему отражение смотрело на неё? Почему Дом открылся после разговора о матери? Мария поймала себя на попытке превратить происходящее в причинную схему и почти рассердилась. Но вопросы были единственным, что здесь принадлежало ей безусловно.

— Отлично.

Она повернулась назад. Двери в больницу не было. Только гладкая стена и вбитый в неё крючок, на котором висело синее детское пальто. Мария ощупала поверхность.

— Кирилл!

Ответа не последовало; на месте реплики осталась только тишина, от которой вопрос не исчез, а сделался ещё заметнее.

— Мама!

Где-то впереди скрипнула дверь. Мария пошла.

— Мам?

— Здесь.

Голос Лидии доносился слева. Мария открыла первую дверь. Кладовка. Вторая. Пустая детская. Третья не поддавалась. На ней не было замка, только металлическая пластина с надписью:

«СНАЧАЛА ОБЕЩАЙ».

— Что обещать?

Дом молчал. Из-за двери снова мать: — Маша, пожалуйста.

Мария дёрнула ручку.

— Что вам надо?

На стене рядом проступили буквы. «ТЫ ЗНАЕШЬ».

— Нет, не знаю.

Буквы исчезли. Потом: «БУДЬ ХОРОШЕЙ». Злость пришла раньше ответа.

— Идите к чёрту.

Ручка стала ледяной. Из стены за спиной голос Лидии сказал: — Я просто переживаю.

С другого участка стены Анна: — Старших не перебивают.

Ещё один голос — её отца: — Маме сейчас тяжело, не добавляй.

Мария обернулась. Никого. Голоса продолжали звучать не хором, а почти бытово, будто люди находились в соседних комнатах.

— Ты же умная девочка.

— Не заставляй маму нервничать.

— После всего, что для тебя делают.

— Ну конечно, решай сама.

— Мне всё равно.

Последнее — её собственное. Мария ударила ладонью по двери.

— Я обещаю найти маму.

Ничего.

— Я обещаю вывести её отсюда.

Ничего. Слово на стене: «ЛУЧШЕ». Она поняла. И не хотела произносить.

— Я обещаю не спорить с мамой, пока не найду её.

Слова прозвучали слишком легко. Мария почти сразу пожалела, что выбрала именно их. Не спорить с матерью — что в этом вообще могло быть опасного на ближайшие полчаса? В обычной жизни она могла бы считать обещание мелочью. Но в Доме после него воздух стал плотнее, а внутри горла будто затянули невидимую ленту.

Она вспомнила, сколько семейных обещаний тоже начинались с «что тебе, трудно?». Позвони, когда доедешь. Не расстраивай бабушку. Потерпи сегодня. Согласись ради праздника. Каждое само по себе было крошечным и часто разумным. Проблема появлялась там, где мелочи переставали иметь срок окончания и начинали называться характером.

Сколько маленьких «ничего страшного» нужно, чтобы однажды обнаружить: ими обставлена почти вся твоя жизнь?

Замок щёлкнул. В горле возникло странное ощущение, будто она проглотила слишком большой кусок хлеба. Мария открыла дверь. За ней был новый коридор.

— Мама?

Тишина. Она вошла. Через несколько метров увидела девочку. Лет восьми. Тонкую, светловолосую, в домашнем платье и носках, один из которых сполз до щиколотки. Девочка стояла возле стены и прислушивалась.



Девочка была совсем не похожа на призрачное видение. На правом колене — свежая корочка от ссадины, на локте — след зелёнки; светлые волосы вились мелкими мягкими прядями и были подрезаны неровно, будто кто-то дома время от времени сам укорачивал чёлку. Лицо — круглое, серьёзное, с россыпью едва заметных веснушек на переносице. Один носок действительно сполз до щиколотки, и девочка то и дело наступала на него пяткой, но не поправляла.

Мария сразу увидела в ней что-то материнское и не смогла понять что. Не глаза, не нос, не форму подбородка. Скорее способ стоять: чуть подавшись вперёд, будто вокруг постоянно происходило что-то, за что она могла оказаться ответственной.

— Привет, — сказала Мария.

Та вздрогнула.

— Ты кто?

Голос у Лиды был ниже, чем ожидала Мария, чуть хриплый, как у ребёнка после простуды. Девочка не отступила, только подтянула сползший носок пальцами другой ноги. Она смотрела прямо, серьёзно, без взрослой вежливости.

Мария вдруг подумала, что дети редко спрашивают «кто вы?» в философском смысле. Им достаточно имени, роли, объяснения, можно ли тебе доверять. В Доме этот простой вопрос почему-то звучал сложнее.

— Мария. А ты?

— Лида.

Мария замерла.

— Лида?

— Да.

— А мама где?

Девочка показала куда-то в глубину коридора.

Лида сказала, что её маме плохо. И сразу добавила главное: она сама её расстроила.

Чем — девочка ещё не знала.

Мария осторожно заметила: если даже неизвестно чем, возможно, она вообще ни при чём.

Лида посмотрела почти с жалостью. Для неё такая версия мира просто не существовала.

— Если мама плачет, надо исправить.

Фраза прозвучала как правило дорожного движения.

После воспоминания о собственной девятилетней тишине Мария снова спросила: что именно ребёнок собирается исправлять, если не знает причины?

— Надо понять.

Наверху раздался женский плач. Лида мгновенно сорвалась с места.

Мария поймала её за плечо, но девочка уже тянулась в сторону голоса.

— К маме!

Она даже не знала, что случилось. Именно поэтому, по её логике, надо было бежать быстрее.

— К маме!

— Ты даже не знаешь, что случилось.

— Тем более!

Девочка вырвалась. Мария хотела сказать «нет». Открыла рот. Слова не было. Она знала его смысл. Знала звук. Но произнести не могла.

— Стой!

Лида остановилась.

— Что?

Мария попробовала снова.

— Я... не...

Пустота. Обещание. Цена. Дом забрал слово. На стене появилась новая надпись:

«ЗА КАЖДОЕ УДОБНОЕ ОБЕЩАНИЕ ДОМ БЕРЁТ ГОЛОС».

По спине прошёл холодок.

— Что ещё он забрал?

Лида пожала плечами.

— По-разному.

Лида сказала это и повела Марию дальше. Они прошли мимо комнаты, откуда пахло свежим бельём, и другой, за которой кто-то тихо смеялся женским голосом. На стене висела семейная фотография без лиц: платья, костюмы, руки на плечах — а вместо черт только светлые пятна. Мария остановилась, но Лида потянула её за рукав.

— Не смотри долго.

— Почему?

— Начнёшь вспоминать, кого там не хватает.

Мария оглянулась уже на ходу. Фотография стала другой: теперь на краю будто стояла женщина в её пальто. Она ускорила шаг.

— У тебя?

Девочка помолчала.

— Пока ничего.

— Почему?

— Я умею правильно.

Мария хотела спросить, кто научил её этому, но впереди появилась Лидия. Взрослая. В больничной рубашке.

— Мама!

Мария бросилась. Коридор вытянулся. Не образно. Стены физически поехали назад, и расстояние между ними выросло вдвое.

— Стой!

Лидия обернулась. Мария увидела её лицо. Испуганное. И дверь возле неё закрылась. Мария побежала быстрее. Коридор снова удлинился.

— Что за...

Лида догнала.

— Не надо за ней бежать.

— Почему? Мария поймала девочку за рукав, но Лида уже смотрела не на неё — туда, где коридор продолжал удлиняться.

— Дом растёт.

— От чего?

— Когда спасаешь.

Мария остановилась. Коридор тоже.

— Что значит «когда спасаешь»?

Мария присела, чтобы оказаться с девочкой на одном уровне. Так было проще разговаривать с детьми друзей и почему-то сложнее сейчас: вблизи она заметила, что ресницы у Лиды слиплись от недавних слёз, хотя сама девочка не выглядела плакавшей. На шее под воротом платья шла тонкая красная полоска — след резинки или тесной завязки. Настоящее тело, настоящие мелкие неудобства. Дом не предлагал ей символы в красивой упаковке; он упрямо делал символы похожими на жизнь.

Девочка задумалась.

— Когда точно знаешь, что другому надо.

Сверху слышались шаги. На лестничной площадке появилась высокая тёмная фигура. Женщина. Или силуэт женщины. Лица не было видно. Она стояла неподвижно.

Смотрительница не двигалась, но Мария сразу почувствовала её присутствие кожей — так иногда чувствуют человека, который слишком долго смотрит со спины. У женщины были узкие плечи, длинные руки и платье без единой складки, словно ткань не подчинялась тяжести. Лицо нельзя было разглядеть не потому, что там была тень: наоборот, света хватало. Взгляд просто соскальзывал, не удерживая ни одной черты. Мария видела овал, линию подбородка, рот — и уже через секунду не могла вспомнить, какого они были цвета и формы.

Где-то за стеной трижды постучали. Не громко — костяшками по дереву. Смотрительница на долю секунды повернула голову туда, и Мария впервые увидела в её неподвижности не власть, а настороженность. Потом лицо снова стало неуловимым. Ни Лида, ни Дом этот звук не объяснили.

Это раздражало почти сильнее страха. Неопределённость всегда казалась Марии плохо заполненной формой, которую хочется вернуть исполнителю.

— Кто это? — спросила Мария.

Лида шёпотом ответила: — Смотрит.

— За чем?

— Чтобы мы делали правильно.

Фигура повернула голову. На стене рядом проступила фраза:

«ТЫ ПОЧТИ ДОГНАЛА ЕЁ».

Следом: «БУДЬ ХОРОШЕЙ». И ещё:

«ЗДЕСЬ ЭТО РАБОТАЕТ».

Горло снова сжалось. Она хотела сказать: *Я хочу маму найти.* Но слово «хочу» не вышло. Только воздух. Лида посмотрела сочувственно.

— Ещё одно.

— Что?

— Ты его отдала.

— Я ничего не отдавала.

— Обещала.

Мария закрыла глаза. Когда открыла, тёмной женщины на лестнице уже не было. Лида взяла её за руку.

— Пойдём.

— Куда?

— Если делать правильно, двери открываются.

Мария посмотрела на ряд дверей. В нормальной жизни правильность была удобным словом: правильный подрядчик соблюдает сроки, правильный документ подписан, правильный расчёт сходится. Здесь слово вдруг оказалось живым и липким. Оно цеплялось за «хорошая дочь», «не расстраивай», «сама догадайся», превращая поведение не в выбор, а в экзамен, критерии которого сообщали уже после ошибки.

Она подумала, что терпеть не может игры с неизвестными правилами. И тут же вспомнила, сколько лет играла в одну из них добровольно.

— А если неправильно?

Девочка посмотрела в конец коридора, где стены уже начинали медленно сближаться.

— Дом учит.

За спиной Марии что-то тихо щёлкнуло. Она обернулась: двери, через которую она вошла, больше не было.

ГЛАВА 5

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ВСЁ ПОНИМАЛА

Дети раньше взрослых узнают правила дома. Просто им редко объясняют, что правила можно перепроверить.

Из записей Анны

Лида знала Дом так, как дети знают квартиры взрослых: не планом, а запретами. Эту дверь нельзя открывать, когда кто-то плачет. По той лестнице нельзя идти первой. Если на стене появляются три одинаковых зеркала, надо смотреть только в среднее. Если слышишь голос матери из комнаты без ручки — нельзя отвечать сразу.



Чем дальше они уходили от прихожей, тем меньше Дом походил на одно здание. Температура менялась от двери к двери: возле одной тянуло подвалом, возле другой — сухим жаром батарей; где-то за стеной шумел дождь, хотя ни одного окна рядом не было. Иногда под половицами проходил низкий звук, будто в глубине работали старые трубы. Мария всё чаще ловила себя на мысли, что Дом не ведёт их куда-то — он перебирает воспоминания, как человек перебирает ключи, выбирая нужный.

Она называла повороты не по комнатам, а по последствиям. «После этой двери мама обычно сердится». «Здесь лучше не говорить громко». «Там часы иногда идут назад». Мария сначала пыталась выстроить из её объяснений план, но быстро поняла: у ребёнка не было карты, только накопленная статистика опасности. Именно так дети и изучают взрослых — не через причины, а через признаки погоды: слишком ровный голос, слишком громко поставленная чашка, затянувшееся молчание в прихожей.

Лида шла босыми пятками почти бесшумно, время от времени подтягивая сползший носок. Её кудри электризовались и цеплялись за ворот платья. Марии неожиданно захотелось достать расчёску, поправить ей волосы, сделать хоть что-то обычное. Желание было настолько материнским и неуместным, что она спрятала руки в карманы.



- Почему?
- Потому что иногда это не мама.
- А кто?
- Не знаю.
- Очень полезная система.
- Мне помогает.
- Мария посмотрела на девочку.
- Давно ты здесь?
- Лида пожала плечами.
- А сколько тебе лет?
- Восемь.
- Всегда восемь?
- Девочка нахмурилась.
- Станный вопрос.

Они вошли в комнату, которая оказалась кухней из другого времени: клеёнка в мелких цветах, эмалированный чайник, радиоприёмник на подоконнике, сахарница с отколотым краем. За столом сидела молодая Анна. Мария узнала её не сразу. Лет тридцать пять. Кра-

сивое резкое лицо, тёмные волосы собраны на затылке, глаза красные от слёз. Рядом стояла маленькая Лида. Не та, что держала Марию за руку. Ещё одна. Образ. Сцена. Анна говорила: — Ничего, всё нормально.

Мария узнала некоторые вещи раньше людей. Сахарницу с отколотым голубым лепестком она помнила у Анны уже старой; эмалированный чайник потом стоял на даче, хотя давно не грел воду; на стене висели те самые часы с кукушкой — только дерево было светлее, а клюв птицы ещё не облупился. Время вокруг предметов складывалось странно: они существовали дольше людей, переходили из кухни в кухню, из рук в руки и иногда становились единственными свидетелями того, что семья предпочитала не помнить.

Молодая Анна была красивой той резкой красотой, которая почти не нуждалась в молодости. Прямой нос, густые тёмные брови, длинные пальцы. В её лице Мария вдруг увидела своё собственное выражение, когда та злилась и пыталась этого не показывать.

Но плакала. Маленькая Лида молча начала убирать со стола.

— Не надо, — сказала Анна.

Девочка продолжила.

— Лида, иди играй.

— Я помогу.

— Мне не надо помогать.

— Я быстро.

Анна закрыла лицо руками. Девочка стала двигаться ещё тише. Мария смотрела.

Маленькая Лида взяла тарелку двумя руками, чтобы она не звякнула о другую. Потом вытерла стол там, где он уже был чистым. Все её движения были слишком осторожными для восьмилетнего ребёнка — не потому, что кто-то научил хорошо убираться, а потому, что она пыталась уменьшить собственное присутствие.

Мария заметила знакомое сжатие в груди. Она видела этот навык у взрослых женщин на совещаниях, у подруг, у себя: быть полезной настолько аккуратно, чтобы никто не заметил, сколько усилий стоит не мешать. Здесь навык впервые выглядел тем, чем был в начале, — способом ребёнка пережить чужое плохое настроение.

— Что случилось?

Лида рядом ответила: — Папа злой.

— Он что-то сделал?

— Не знаю.

— А мама?

— Ей плохо.

— И ты решила, что надо стать удобнее.

— Я решила, что не надо мешать.

— Это одно и то же.

Лида нахмурилась.

— Нет.

Сцена изменилась. Анна лежит в спальне с мокрым полотенцем на лбу. Лида сидит на полу возле двери и не включает телевизор. Следующая. Анна раздражённо моет посуду. Лида сама собирает школьный портфель и прячет двойку глубже между тетрадями. Следующая. Гости. Анна смеётся. Кто-то хвалит Лиду: — Какая самостоятельная девочка. Всё понимает.

Анна улыбается: — Мне с ней повезло. Никогда никаких проблем.

Маленькая Лида светится. Под рёбрами болезненно стянулось.

— Тебе нравилось, когда так говорили?

Лида рядом кивнула.

— Очень.

Именно причина теперь требовала объяснения.

— Значит, мама не жалеет, что я есть.

Мария не сразу ответила. Восемилетняя Лида произнесла эту фразу и машинально сцепила пальцы перед животом, сжав один большой палец другим до белизны. Никакой взрослый не мог бы вспомнить точную секунду, когда ребёнок впервые придумал такое правило. Возможно, её вообще не было. Тысяча маленьких эпизодов — усталая мать, похвала за самостоятельность, облегчённое «с тобой хоть проблем нет» — собирались в убеждение так же незаметно, как пыль на верхней полке: никто не кладёт её туда специально, но однажды проводишь пальцем и видишь слой.

Мария посмотрела на неё.

— Она тебе это говорила?

— Что? — не поняла Лида.

— Что жалеет.

— Нет.

— Тогда откуда?

Лида пожала плечами.

— Не знаю.

— Твоя мама могла любить тебя и всё равно пугать тебя своим состоянием, — сказала Мария.

Лида сразу напряглась.

— Мама хорошая.

Лида сказала это резко и сразу придвинулась к сцене, словно телом защищала молодую Анну от чужого обвинения. Мария узнала реакцию. Она сама десятки раз могла жаловаться на мать часами, но стоило кому-то чужому согласиться слишком охотно — и внутри мгновенно поднималось: ты не понимаешь, она вообще не такая.

— Я не сказала, что плохая.

— Она всё для меня делала.

— Верю.

Лида отвела взгляд.

— Она одна тянула.

— Возможно.

— Потому что можно любить человека и бояться его.

Лида замолчала. Стена комнаты дрогнула. Мария почувствовала.

— И можно быть благодарной и злиться.

Трещина пошла от потолка к полу.

— Нельзя, — сказала девочка.

— Почему?

— Неблагодарно.

— Вот.

Лида обиделась.

— Что «вот»?

Мария опустила перед ней.

— Я злюсь на свою маму.

— Значит, не любишь.

— Люблю.

— Так не бывает.

— Бывает.

— Нет.

— Я сейчас очень хочу её найти, и я очень на неё злюсь.

Слово «хочу» снова не вышло. Мария замолчала, раздражённая собственной беспомощностью. Исправила: — Мне нужно её найти. И я злюсь.

Лида смотрела.

— За что?

— За то, что она иногда делает свою тревогу моей обязанностью. За то, что говорит «решай сама», а потом двадцать минут объясняет, почему надо решить правильно. За то, что я рядом с ней иногда перестаю понимать, чего...

Она снова упёрлась в потерянное слово.

— Чего ты хочешь, — подсказала Лида.

Мария кивнула.

— Я могу говорить.

Лида ждала, не отводя глаз.

— Вижу.

— «Не хочу» тоже.

— Скажи.

Девочка нахмурилась.

— Не хочу.

Стена треснула ещё сильнее. Дверь, которой раньше не было, открылась. Мария рассмеялась.

— Похоже, Дому не нравится.

— Ему нравится правда, — сказала Лида.

— Тогда почему он ворует голос?

— Не знаю.

Они вошли. За дверью оказался старый вокзал. Высокие окна. Жёлтые лампы. Запах угля, мокрой ткани и железа. Возле телефона стояла девушка лет семнадцати с чемоданом. Мария узнала Лидию сразу. Не потому, что была похожа лицом. По тому, как держала плечи. Рядом — худой тёмноволосый парень.

Вокзал возник не декорацией, а целым организмом. Под высоким потолком плыл пар, где-то звякала металлическая тележка, пахло мокрой шерстью, углём, кипятком и железом рельсов. Жёлтые лампы делали лица людей болезненно бледными. Громкоговоритель трещал так, что слова объявления теряли окончания. Мария почувствовала холод от каменного пола даже через подошвы.

Семнадцатилетняя Лидия стояла у телефона в коротком пальто с широким воротником. Светлые волосы были длиннее, чем Мария когда-либо видела на старых фотографиях, — собраны лентой на затылке, но несколько кудрявых прядей выбились у лица. У неё были тонкие запястья и слишком серьёзный взгляд человека, который давно привык выглядеть старше.

— Поезд через семь минут, — сказал он.

Лидия держала трубку.

— Я ещё раз позвоню.

— Ты уже звонила трижды.

— Она плакала.

На лице юной Лидии мелькнуло выражение, которое Мария знала у взрослой матери: уголки губ чуть опускались, подбородок становился твёрже, а глаза начинали смотреть не на собеседника, а как будто на задачу за его плечом. В пятьдесят семь это выглядело как решительность. В семнадцать — как ребёнок, слишком быстро надевающий чужую взрослость.

— Ты уезжаешь на три дня.

— Я знаю.

— Лида.

— Что?

— Если ты сейчас не сядешь, потом скажешь, что осталась из-за мамы.

Лидия резко повернулась.

— Не говори так.

— А как?

Она набрала номер. На другом конце кто-то ответил. Мария слышала только голос молодой Лидии: — Мам? Я ещё здесь... Нет... Нет, я не села... Конечно... Ты точно?.. Мам, ты плачешь?.. Я вернусь... Нет, сейчас... Я никуда не поеду.

Она положила трубку. Парень закрыл глаза.

— Всё?

— Всё.

Поезд объявили к отправлению. Он взял чемодан.

— Я отвезу тебя домой.

— Я сама.

— Лида.

— Я сказала сама.

Парень ушёл. Мария подошла ближе к табло, но название города и факультета расплывалось, сколько бы она ни всматривалась.

Мария спросила, хотела ли та девушка учиться там. Лида молчала. Сходство было слишком очевидным, хотя девочка упрямо напоминала: ей всего восемь.

Вокзал опустел. На платформе появилась Смотрительница — высокая, в чёрном платье, с лицом, которое невозможно было удержать в памяти.

Мария потребовала объяснить, зачем им показывают эту сцену.

Смотрительница ответила: она ничего не показывает. Это просто то, что осталось от выбора.

Потом повернулась к Лиде и сказала, что её мама ждёт там, где снова можно быть хорошей.

Мария шагнула между ними.

— Скажите прямо. Её мать умрёт, если она сейчас не пойдёт?

Смотрительница не ответила «да» или «нет». Будущее зависит от многих решений.

Вот в чём был её способ: не лгать, а поставить правду так, чтобы человек сам сделал нужный вывод.

Мария сказала Лиде, что никакой угрозы матери вслух не прозвучало. Девочка всё равно слышала только одно: маме плохо.

Мария позволила ей идти, но попросила сначала назвать собственное желание.

Слово опять не вышло у самой Марии.

Лида посмотрела на Смотрительницу.

— Не хочу.

Женщина стала неподвижной. Девочка испугалась — и всё-таки повторила.

— Не хочу.

Мария кивнула ей.

Смотрительница не спорила. Это было страшнее. Она посмотрела на Марию.

— Обещания стоят дорого.

— Вы забрали у меня слова.

— Я ничего не забирала.

Смотрительница ответила не сразу.

— Дом.

— Вы отдали.

— Потому что меня заставили.

— Вас попросили обещать.

Мария хотела возразить. Не смогла сразу. Смотрительница добавила: — Я не беру слова. Я взвешиваю обещания.

И исчезла. На стене вокзала появилась дверь. Над ней:

«КОМНАТА ХОРОШИХ ДОЧЕРЕЙ».

Мария посмотрела на Лиду.

— Ты точно не знаешь, кто ты?

Девочка пожала плечами.

— Машенька-синичка, пойдём.

Мария не двинулась. Так называла её только Лидия. Всегда. С детства. Никто больше.

— Откуда ты знаешь это имя?

Лида побледнела.

— Какое?

— «Синичка».

Девочка сделала шаг назад. И Мария вдруг поняла: восемь лет, возможно, были не возрастом Лиды. А местом, из которого она так и не вышла.

Где-то за стеной трижды постучали. Лида резко подняла голову — и на этот раз сделала вид, что ничего не услышала.

ГЛАВА 6

КОМНАТА ХОРОШИХ ДОЧЕРЕЙ

Хорошая дочь знает, чего от неё ждут. Взрослая — спрашивает, чего хочет сама.

Из «Книги дверей»

За дверью стоял длинный семейный стол. Не тот, который существовал когда-либо в реальности, а собранный из десятков столов одновременно: на одном конце лежала клеёнка из кухни Анны, в центре — белая скатерть из квартиры Лидии, дальше стояли свадебные бокалы, детские чашки, советские тарелки с золотой каймой, пластиковая миска, которую Мария помнила с дачи. За столом сидели женщины. Разного возраста. Некоторых Мария узнавала по фотографиям. Некоторых никогда не видела. Все разговаривали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.